

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

**ДЕРЕВЕНСКИЕ
ПАНОРАМЫ
(СБОРНИК)**

Николай Гарин-Михайловский
Деревенские панорамы (сборник)

«Public Domain»

1894

Гарин-Михайловский Н. Г.

Деревенские панорамы (сборник) / Н. Г. Гарин-Михайловский —
«Public Domain», 1894

«Многое изменилось на селе за эти восемьдесят лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радости, знал ее горе, – все уже в могиле. И жила бабушка одна, как перст божий: ни до нее никому, ни ей до других никакого дела давно не было. Только по соседству шабры да внучатная племянница и заглядывали к ней: жива ли?..»

Содержание

I. Бабушка Степанида	5
II. Акулина	9
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Николай Гарин-Михайловский

Деревенские панорамы (сборник)

І. Бабушка Степанида

Многое изменилось на селе за эти восемьдесят лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радости, знал ее горе, – все уже в могиле. И жила бабушка одна, как перст божий: ни до нее никому, ни ей до других никакого дела давно не было. Только по соседству шабры¹ да внучатная племянница и заглядывали к ней: жива ли?

Жила бабушка и к людям за помощью не ходила. Кое-что, вероятно, было припасено от прежних дней и зорко хранилось где-нибудь под половицей. Да и немного требовалось, чтобы удовлетворить несложные потребности: горсть крупной соли, немного луку, ломтик ржаного хлеба, чашка с водой, и «мура» готова. Остальное в таком же роде было. Все хозяйство и дом после мужа продала, она, еще когда схоронила сына, а сама поселилась в келейке на самом краю села. В ней почти безвыходно сидела старуха и редко, редко, разве в очень уж большой праздник, угрюмая, высокая, с морщинистой и желтой кожей на лице, опираясь на клюку, – брела навестить какую-нибудь такую же забытую, как и она. И когда она шла, бойкие ребятишки деревни стихали, потому что боялись высокой старухи: у нее росла борода и как-то рычало в груди, даже и тогда, когда она молчала... Крестьяне приветливо снимали шапки. И бабушка Степанида, на ходу опираясь на клюку, отдавала им безучастный, степенный поклон и шла дальше.

Келейка бабушки была осиновая, горькая: лес давно подгнил, избушка наклонилась, и передняя стена совсем ушла в землю. В длину келейка была пять аршин, в ширину четыре. Половину при этом занимала курная печь, от которой стены внутри избы были покрыты толстым слоем сажи. Когда сверкало пламя очага, сажка казалась такой блестящей, точно стена была усыпана миллионами кристалликов из черных бриллиантов. Обладательница этих бриллиантов во время топки сидела на корточках, пялила глаза от едкого дыма, скалила беззубый рот и тяжело дышала: пока топилось, удушливый дым волнами ходил по избенке, и только у самого пола была полоска, где тянул свежий воздух из подполья.

Келейка, копилка, склеп – все названия одинаково подходили к жилью, в котором тридцать лет уже провела старуха. Ее и не тянуло на свет божий. Свет божий! Мало веселого было в нем. Ее жизнь, однообразная и жестокая, невкусная и сухая, была похожа на нее самое, бабушку Степаниду.

Скучная жизнь, скучное горе. Горе, которое приволочила она с собой еще из страшной, отлетевшей, забытой эпохи.

Замуж ее отдали на семнадцатом году. В первый же год муж ее сгрубил кому-то и его забрали в солдаты. Красавица она была смолоду. Может быть, сердце рвалось в груди, может быть, много ночей провалялась она в жаркой истоме в темной избе одна с подростком сыном. Так вся молодость день за днем и ушла. Двадцать четыре года прождала она мужа; на двадцать четвертом вместо него пришла глухая бумага: помер муж. Не узнала даже где, и отчего, и как. Кто там станет глупой бабе описывать о смерти солдата.

Новое горе стряслось: господа женили сына на дворовой. Муж привязался к жене, но жена возненавидела и мужа и всю постылую деревенскую жизнь. Сейчас же после воли бросила она деревню и мужа и ушла навсегда. Так и пропала. – Он пил, тосковал, угрюмый, неприветливый, как и мать, тосковал, как только может тосковать человек, упорный в чем-нибудь

¹ соседи. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)

одном, когда и это одно отняла у него жизнь. Сердце болело сильно, когда от поры до времени доносились неясные слухи о коварной изменнице, жившей где-то в городе: бедная фантазия рисовала этот город... Не вытерпел и повесился брошенный муж у себя на задах.

Горе при жизни сына было у матери, а только после смерти сына спознала она всю бездну горя: всю любовь свою отдала она сыну, и вот теперь этот сын, единственная радость, одна отрада, безумным шагом обрекся на муку вечную. Каково-то будет там ей смотреть, если примет даже господь ее в свою обитель, на муку мученическую, муку вечную своего несчастного сына!

Тридцать лет замаливала она господя без надежды замолить, тридцать лет гвоздем сидела одна и та же страшная и безвыходная мысль. Тоска здесь, ужас там...

«Пресвятая богородица, спаси и помилуй!» – страстно, безнадежно шептали старые рас-трескавшиеся губы.

Нет, не тянул старуху свет божий. Она уходила от него угрюмая, далеко прятала от всех свои, как и сама, как и жизнь ее, – ужасные думы.

Тем не менее, как бабушка ни пряталась от современной жизни, иногда эта жизнь все-таки долетала и к ней.

Староста Родион, молодой, лет тридцати, доводился тоже какой-то родней бабушке и нет-нет заглядывал к ней.

– Жива? – спрашивал Родион, садясь на скамейку.

– Жива, – сухо, шевыряясь, отвечала бабушка.

– А у нас всё дела, всё дела: назмить землю хотят.

– Грешили бы меньше. При стариках кто назмил, а родила земля.

– Дохтура хранцузску болеть открыли. Слышь, Меркев не годится... Трусовы вся семья... Много народу погадилось.

– Брежут всё дохтура, – сердилась вдруг бабушка.

– Этак... Пошто ж им брехать-то?

– По то и брежут, чтоб народ-то морить... Он тебе склянку дал, а в ней мор.

– А им что за корысть народ-то морить?

– То и корысть, что христопродавцы.

– Этак...

И, помолчав, Родион опять начинал:

– Начальство сменили... новое теперь будет: земский... ждут...

– А ты ему полштофа припаси, и станет он для тебя лучше старого стараться.

– Чай, полштофа мало, – усмехается Родион.

– Будет им... пожалуй, тащи...

И опять замолчат.

Родион стукнет сапогами, поглядит на них, зевнет и встанет:

– Ну, доколь что до увиданья... гостинца тут принес тебе.

Бабушка примет гостинец, быстро, чтоб не раздумал еще, проводит от греха, дверь запрет и примется рассматривать гостинец.

Раз заглянула внучка в келейку, глядит: бабушка лежит не жива на кровати. Подняла крик, сбежались шабры, думали было, что и впрямь умерла. Но старуха Драчена смекнула, в чем дело.

– Стойте, бабы, а вы... обмерла она, а смерти настоящей нет же... Святой водичкой надо окропить... да свечку ей в голову... Душенька ее в гостях у бога теперь.

Обмирает не всякий: надо быть достойной, чтоб при жизни сподобиться видеть, как все это устроено у господя бога.

Почти сутки бабушка Степанида лежала обмерши. По пяти баб сидели у нее по очереди и свечи восковые жгли.

Нанесли свечей груды. Шутка сказать: душенька по разным мытарствам да в раю гуляет, всех сродников всей деревни в это время видит, – свечки вот, чтобы ей-то, душеньке, виднее было, и несет народ.

Гуляет себе душенька бабушки, сама бабушка спит мертвым, без движенья, почти без дыханья сном, горят ярко свечки в головах, а старухи караульные сбились в кучу и ведут тихую беседу в углу.

Нет, нет и вздохнет сухая, как скелет, бабушка Драчена.

– Господи, подумать только: у господа бога в гостях...

И опять пойдет речь про житейское, а то на «страсти» перейдет.

Подожметя Драчена, прижмет свою тощую руку к груди, соберет губы колечком, и льются слова. Бабы кругом прильнут друг к дружке и слушают. Слушают и прячут дорогие сведения в самую глубь подвалов своих душ: темных, страшных, без выходов.

– Этак... три дня как море разливанное... Плачь о покойнике хоть без памяти... Горе-то горе... так ведь без горя неужели проживешь? Три дня и провыла, отвела душеньку... Будет... Ей говорят бабы: брось, не указано. Ну так ведь умней людей...

Драчена вздохнула.

– Ну и стал... Как к ночи дело – тут как тут! Огненным шаром по небу рассыпется и прямо во двор... Об землю ударится и стал молодцом: ни дать, ни взять муж покойничек... В избу войдет да прямо к ней. А она-то, глупая, чем молитву сотворить, прямо к нему на шею: «Муж ты мой милый!» Что такое, глядят на деревне, истаяла баба: то была румяная, кровь с молоком, а тут нет тебе ничего... в гроб краше кладут. Стали люди примечать и доглядели... Так ведь ты что? Обошел он ее: клятву кладет, знать не знаю, ведать не ведаю. Уж чего тут ей ни делали: и к святым угодникам возили и водицей свяченой брызгали: нет ничего.

– Уж, конечно, власть ему дана: кропи, пожалуй.

– Пропала? – тоскливо спросил кто-то.

– А ты? Пропала... Есть добрые люди.

– Есть же, – убежденно мотнула головой Акулина.

– Этакого, что силу над ним взять может, и раздобыли и привезли. Оглядел он ее и говорит: «Кол мне осиновый к вечеру нужен»... Припасли кол... Первая звездочка мигнула... катит: ж-ж-ж... следом рассыпался и прямо во двор... он в избу, а знахарь в воротах кол вбил. Ну известно уж, с приговором, не иначе.

– А без приговора, пожалуй, забивай его.

– Учужал... выскочил, а уж со двора и нельзя... туда, сюда, да как лопнет... Смерд этакий, дух пошел... А она, сердешная, лежит среди избы, ровно мертвая.

Драчена помолчала, вздохнула и огорченно, нехотя кончила:

– Отходили.

Замолчали старухи и глядят на спящую – строгое лицо! И она, бабушка Степанида, бывало, нет-нет и спохватится, что надо бы унять от греха сердце. А как уймешь-то его? В руки взять да стиснуть – не вынешь из груди: бьется там, вольное, мутит душу. Гонишь не гонишь: стоит пред глазами несчастный удушенный... Стоит, точно сейчас случилось несчастье. А придет темный вечер – в келейке и того темнее; дело старое, сна нет, а думка буравит, и оглядывается, и слушает: словно щеколду кто тронул у дверей? Побелеет и ждет...

Отошла бабушка от обмиранья, и пошли толки по селу о том, что видела бабушка. Много прибавляли, сами же выдумывали и верили. А бабушка всего-то и говорила:

– Обмирала... доподлинно... видела грешными глазами своими милость божию. Все видела... и в аду была и в раю сподобилась...

– Бабушка, в аду-то кого видела?

Бабушка долго трясла старой головой и жевала беззубым ртом.

– Страсти видела... дядя Андрей (Андрей был конокрад) из овина горячего этак до половины вылез да и кричит: «Бабушка Степанида, скажи хозяйке, чтобы молилась больней, – худо мне!» Да как бултыхнется этак назад. А жа-а-р... да смрад.

Замолчала бабушка, жует своим беззубым ртом и смотрит выцветшими глазами в угол, точно присматривается или видит еще что-то такое там, о чем не рассказывает.

– Бабушка, а в раю побывала?

– Сподобилась... Дядю Парфена да дядю Семена видела: стоят друг возле друга, портянки новенькие, онучки новенькие, головы маслом смазаны, ручки сложили, стоят на сухоньком месте: «Хорошо-о нам, бабушка Степанида!»

– Хорошо, – шепчут ее старые губы, трясется голова, и холодные слезы льются по старому морщинистому лицу, – хорошо на сухоньком месте.

Все проходит на свете. Стал приходить и бабушкину горю конец. Иногда думает, думает и спутается: кто, муж или сын нехорошей смертью помер? А то вдруг покажется ей, что и муж и сын оба честно преставились и ждут не дождутся ее, и не дядю Парфена и Семена видела она, а их же: стоят и ждут свою молитвенницу, чтобы вместе принять уготованную им радость от милостивого бога.

Смеялись на деревне, что забыли на том свете о старухе.

– Провиянт, чать, давно на нее идет.

Но оказалось, не забыли, и бабушка Степанида дождалась своего часа. Хорошо умерла. В самый день вознесения. А день-то какой, теплый да ласковый, весь в солнце да в радости.

Сама и приготовила все в знакомую далекую дорогу, вздохнула и кончилась.

Словно вылетело что-то в открытое окно. Тронуло кудри парней, травку качнуло у часовни, весело пыль смахнуло с дороги и потянуло за собой туда в далекое поле между зелеными хлебами. Вон, вон уж где птичкой вольной, веселой встрепенулось и исчезло в искристой синеве майского неба.

II. Акулина

Здоровая баба Акулина, веселая, сквозь рваную рубаху сбитое розовое тело так и светится. И в глазах веселых, небольших, голубых светится и отливает на лицо, на губы, небольшие, красные, сочные, на ряд жемчужных белых зубов.

Здорова Акулина, здорова и в работе: всякого мужика за пояс заткнет. И нравом мягка. Пристали родители, чтобы за вдового шла: пёс с ним, пошла! Вдовый да хилый, да парнишка... Этакого лежебока и не видала Акулина. Только бы ему и шляться век свой вечный с парнями по ночам, да водку пить, да сигарки курить. Хотя и не умела сердиться Акулина, а все, бывало, не стерпит и крикнет на Алешку.

Кричи, пожалуй: картуз надел и пошел. Ну, да пес с ним, не ее кровь: своих четверо живы да трое померли. Отец балует Алешку. А она тут что может?

Не мудрый и муж достался Акулине: молчит, и слова от него не услышишь. Бывало, на сходе только гул стоит. Павел Кочегар – труба иерихонская – орет, что есть мочи, а Иван стоит себе сзади всех да еще шапку на уши надвинет и голову опустит, только нос тонкий, хрящеватый торчит. Землю ли пойдут делить, уж Ивану непременно всучат такую, что только козлец да молочай и родится на ней.

– Эх ты, вахромей, – вздернет носом Акулина и вздохнет.

Иван славился как хороший плотник, но работал тихо. Копается себе, посмотрит с одной стороны, зайдет с другой, задумается и стоит. То сруб кому-нибудь ладит, то надумает телегу чинить – тянет, тянет, всю душу проворной Акулине вымотает. Воли все-таки Акулине Иван над собой не давал. Тихий, тихий, а выходило так, что Акулина его и уважала, и боялась, и любила. Да и на деревне в один голос говорили про Ивана хорошо.

Хороший был человек, даже жена управителя, у которой все бывали хороши только до тех пор, пока бывали далеко, и та постоянно говорила, что Иван хороший человек.

Плотничество да посев кормили семью, и хоть не богато, а жили не хуже людей. Лошадь была, телку второй год растили. Бог даст, свое молоко будет – ребятишкам легче станет, а то на пустых щах да на хлебце трудно малым. А, впрочем, ребятишки или умирали, или, уж если оставались, были такие здоровые да круглые, что Акулина только удивлялась, с чего только нагул у них берется?

Как-то чинил Иван мельницу, задумался ли, по своему обыкновению, так ли уж на роду ему было написано, но сорвался он с самого верху. Так и думали, что жив не будет. Домой принесли: белый, как бумага, а сам стонет, стонет, мечется: обробел.

– Ох, ох! смерть моя пришла!

Откроет большие, большие глаза и поведет кругом.

Притихла Акулина, точно ее здесь вина, только смотрит, да нет-нет и взвояет. Сбежался народ, за попом поехали. Кровь горлом пошла – сильней заметался Иван.

Батюшка приобщил и посоветовал к доктору везти.

Это было легко посоветовать, но гораздо труднее исполнить. Двадцать пять верст на тряской телеге, когда, того и гляди, помрет, где уж? Дело обошлось по-старинному: раздобыли знахарку, истопили баню, влили Ивану стаканчик водки сквозь стиснутые зубы, раздели, и стала знахарка «направлять» его. Мяла, мяла и домялась: стал Иван кричать не своим голосом. Далеко баня от села, а крик Ивана так и резал по сердцу обитателей.

– Правят, – говорил угрюмо кто-нибудь.

– Правят, – соглашался другой.

Ребятишки, сбившись в кружок, сидели на огороде и не сводили глаз с страшной бани, откуда несся рев Ивана.

Трудная была задача для знахарки: два ребра переломанных внутрь вошли, а назад на место не идут, хоть ты что. И так, и этак, и растягивать пробовали: одни тянули на себя, а другие от себя, а бабка в это время ловила пальцами упрямые ребра. Одно выпрямили, а другое до завтра оставили, потому что Иван совсем обеспамятовал. Но и назавтра успеха не было.

Еще два раза пробовала бабка править ребро и тоже без успеха. Да и Ивану уж непомоготу стало, а главное явилась надежда, что и так, бог даст, выправится.

Выправиться-то выправился, но уж не тот человек стал: на тяжелой работе, чуть что, грудь заложит; с лица желтый. Все-таки месяца через три принялся опять за плотничество, но от поля совсем отстал.

Поле Акулина взяла в свои руки.

Ветер раздувает подол, надувает рубаху – катит Акулина по борозде, поспевает за Бурком, соху держит раскорякой, по-бабьи, смешно, а работа идет.

Смеется народ на непривычное занятие бабы.

Бросят работу и смотрят. Смеется и Акулина:

– Мне что? Пошла да пошла.

– Ты гляди, вспахала-то не хуже мужика.

– Може, и лучше, – весело шепчет себе под нос Акулина, заноса соху на новую борозду.

– Вот так баба! Пра-а!

Косить научилась. Не всякий и мужик еще косу в руках держать умеет, а уж баба, конечно, только знает что свой серп: прежде везде серпы только и были. Это со степи уж ухватку переняли косою косить, – там ведь и хлеб так косят.

– Бабы, а бабы! – кричит весело Акулина, – да вы что мучаетесь, по траве-то елозя серпом... Ты глядь, спины не согнешь...

Оторвутся бабы от земли, выпрямят спины и смотрят, как Акулина пошла: только сверкает да свистит коса, а Акулина даже визжит от удовольствия и головой трясет:

– И... их!

Посмотрят, посмотрят и опять примутся за свои серпы, и пошли мелькать, точно выюны на сковороде: нагнется, ухватит горсть травы, подрежет, выпрямится, бросит, в бок перегнется, – в другой. Ступила шаг дальше: опять нагнулась, поднялась – нагнулась, поднялась – и новый шаг. День-то длинный: на каждый шаг три поклона земных да быстрых – только голова мелькает: друг перед дружкой поспевают. А Акулина уж где? дошла до межи и назад катит.

– Медведь! У-у!

– Берегись, разнесу!

Тут в поле и весь дом ее: четверо, пятый, грудной, орет благим матом в колыске.

– Сунь ему соску, – кричит Акулина Никитке.

– Не хоче.

– А пес с ним! Пусть орет, глотка ерихонская выйдет, – весело махнет рукой Акулина, – не все Кочегару! отец молчальник, сын поорет.

Если будущая иерихонская глотка не переставала орать, и рев начинал уже переходить в брюшной, Акулина бросала косу, обдергивала юбку, вытирала пот и деловито серьезно говорила:

– Надо идти!

Подойдет, вынет ребенка из люльки, присядет, вывалит свою громадную грудь и сразу закупорит ею иерихонскую глотку. Сосет здоровый бутуз, надувается, только пузыри летят из носу. Акулина подождет губы и смотрит молча в привольную даль.

Наелся и спи.

– Ты, слышь, от косы молоко-то в грудях не так перегорат, – бросает она по дороге худой и желтой Варваре, которая то и дело кидается к своему болезненному мечущемуся ребенку.

Варвара не отвечает и не глядит – и так, кажись, в гроб бы живую легла: самую ломает, ребенок донял, и что больше корми его, то хуже да хуже.

– Всю меня вытянул, – шепчет тоскливо Варвара и сильнее жмет пальцами свою тощую грудь.

А Акулина уж схватилась с каким-то парнем, и пошла у них возня.

Акулина только кряхтит: охота свалить парня, и шепчет она, стиснув зубы:

– Врешь, одолею.

И хохот же, когда брякнется о землю парень, а Акулина сверху.

Бойка Акулина, а слуха худого о ней нет. Глаза плутовские... может, и знает темная ночка да куст что-нибудь, – так ведь только они и знают, чем, может быть, кончилась веселая помочь, затянувшаяся до самой темной ноченьки, темной да звездной, да мягкой, да пьяной.

На другой день где-нибудь, на пруду за бельем в серый летний денек, под нахлынувшей вдруг жаркой волной воспоминанья о вчерашней пьяной ночке, замрет и вспыхнет Акулина. Полно, да было ли что? Не было, врет все глупая водка и куст, темная ночка и кровь, что огнем разлилась вдруг.

И, покорно вздохнув, Акулина потянет изо всей своей богатырской силы носом и пойдет колотить вальком, точно из ружья палит. А кругом тихо, пруд разлился и застыл. По берегу ветлы нагнулись, чуть приметная волна шевелит травку, по болотистому берегу кулики озабоченно бегают: ки, ки.

Таф! таф! – несутся удары валька.

Вороны высоко взлетели и подняли крик.

– Дождь будет.

Лягушки заквакали свой обычный перед дождем концерт. Еще подбавилось туч, потемнело небо, задумалось, и отдельные крупные капли дождя застучали кругом.

Подхватит белье и бежит Акулина.

Бежит в аромате дождя, в аромате жгучих воспоминаний. И от них и от дождя еще скорей бежит она в избу к ребятишкам и к больному мужу.

Порядился Иван с богатым мужиком Василием Михеевым сруб ему рубить, ударили по рукам и, как водится, пошли в кабак магарычи пить.

Сидит в кабаке Иван и видит, бежит сама не своя с поля Акулина. Увидела его, повернулась и стала реветь, надрываясь.

– Ооой-ооой!

Выскочил Иван, Василий Михеев, Акулина качается да кричит:

– Ооой – Бурко сдох, Бурко!.. сдох Бурко... ооой! – ревет белугой Акулина.

Бегут со всех сторон и старый и малый. Поспевает бабушка Драчена.

– Батюшки, батюшки! Бурко сдох! – воеет Акулина.

«Сдох Бурко», и белоголовые парнишки быстро смотрят друг на друга, на тетку Акулину, на людей.

Пять ее собственных уже вцепились ей в подол и ревут вместе с ней.

– Люди добрые, сдох Бурко, что ж я буду делать? Ооой!

– Что такое! – говорит Драчена. – Даве здоров был... с чего ж это?

– Ума не приложу, – сразу вдруг успокоилась Акулина. – Только так с три борозды и осталось допахать. Стал он – я ему «но!», а он на бок, на бок, да и сдо-о-ох!

– Не иначе, что с наговору, – сверкнула глазами Драчена.

– Кому я худо роблю? – огрызнулась Акулина.

– Кто говорит – худо?

– Мышки задушили, – бросил кто-то предположение.

– Мышки, не иначе, – согласился дядя Василий, – есть этакие люди, что шило знают, где ткнуть, как они схватят: тут вот где-то... Проходит.

– Ооой!

Мимо шел старик Асимов, остановился, тряхнул головой и проговорил, идя дальше:

– Слезами горю не поможешь.

– И то, – согласилась Драчена, – идем, милая, – потянула она Акулину, – идем в избу, что при народе плакать?

Успокоили бабу. Сидит Акулина на пороге избы, плакать перестала, и глаза высохли, скосила слегка глаза и смотрит, смотрит в упор перед собой.

– Ты что – патентованная? – как-то в начале лета, захватив ее одну в поле, спросил толстый, вздутый, охотник до баб, управитель, слезая с бегунков и подходя к ней.

– Чего? – угрюмо собралась Акулина.

Управитель уже был около нее и жестами перевел смысл своего вопроса. Против жестов Акулина ничего особенного не имела, но против дальнейших попыток так энергично восстала, что, как ни бился управитель, так и убрался ни с чем.

– Напрасно, – говорил он, садясь на бегунки, – может, и пригодился бы когда.

Акулина, конечно, соглашалась, что пригодился бы, а не будь этого, так разве не сумела бы она ему закатить такую плюху, что он и не устоял бы, пожалуй.

– Напрасно, – подбирал вожжи управитель.

«Напрасно-то, напрасно, – думала Акулина, – ну да все-таки поезжай с богом: не из-за чего греха-то на душу принимать с тобой».

Так и уехал управитель ни с чем.

С тех пор и был сердит на Акулину. Едет и не смотрит. Красные, толстые губы сожмет пузырем и надуется: вот я какой! Акулина только усмехается, бывало, ему вслед.

Побилась без лошади Акулина и видит, что все дело повалится у нее, если не добьется коня: и озимь не посеет, и снопов не свезет, и яровую не вспашет, – прямо хоть бросай все дело. Надеялась на урожай, и урожай незавидный вышел. Надвигался страшный призрак нужды: она да Бурко тащили еще как-нибудь на своих плечах восьмерых, а она одна – хоть лопни, а не справится. И решила Акулина во что бы то ни стало, а добиться лошади.

Однажды когда управительша уехала к вечерне, а Иван куда-то запропал, Акулина, наскоро омывши лицо и надев новый платок, пошла на барский двор прямо к управителю.

– Иван Михайлович, я к тебе, – смущенно проговорила Акулина, остановившись у дверей его кабинета.

Она стояла красная, боря смущенье, стараясь улыбнуться, и смотрела исподлобья на Ивана Михайловича.

Иван Михайлович, – услышав чужой голос, прежде всего испугался. Он боялся всего: боялся, как огня, своей жены, боялся ночи, боялся караульщиков, крестьян, поджогов. Но зато, когда страх его оказывался напрасным, у него являлась потребность убедить и себя и других в том, что он не трус и, напротив, сам может на всякого нагнать страх. Иван Михайлович в таких случаях кряхтел, краснел, надувался и, по обыкновению плохо ворочая языком, точно рот у него был набит едой, начинал:

– Ты, пожалуйста... э... не думай... э... что я тебя испугался... э... Видишь?

Он показывал револьвер.

– Вот... одна минута... э... я человек горячий... я ничего не помню, когда рассержусь.

Только перед женой не проделывались все эти комедии, потому что, почти вдвое старше мужа, Марья Ивановна, за которой потянулся супруг из-за денег, видела своего мужа насквозь

и презирала его. Нередко даже, в порыве ее благородного негодования, маленькие комнаты оглашались звонкой пощечиной: это жена била своего мужа.

Муж давал ей время скрыться и тогда, отпуская на волю свой гнев, бросался к дверям за ней и кричал;

– Убью!..

– Тебе что? – вскочил было быстро перед Акулиной Иван Михайлович с невольной тревогой в голосе.

Но когда тревогу сменило сознание, что перед ним Акулина, Иван Михайлович принял какой только мог важный вид и сурово спросил:

– Чего?

Акулина смутилась и робким, упавшим голосом начала:

– Ты будешь, что ль, сдавать срубы на весну?

Иван Михайлович иногда за экономический счет заготавливал зимой несколько срубов.

Акулина говорила, а Иван Михайлович все смотрел в ее загоравшиеся под его упорным взглядом глаза.

– Гм... – тяжело промычал красный Иван Михайлович, когда Акулина кончила.

И вдруг, сбросив сразу всю важность, сдерживая волнение, распустив свои толстые губы в лукавую улыбку, он произнес:

– А помнишь...

Акулина потупилась и замолчала.

– Пойдешь в ту комнату...

Иван Михайлович из своего известкой побеленного кабинета показал на дверь маленькой темной комнаты.

Акулина растерянно метнула на него глаза, ступила было ногой и не знала, шутит он или нет?

– Ну?

* * *

Иван Михайлович сдал Ивану срубы и выдал тридцать рублей в задаток.

На деревне бабы покачивали головой и подозрительно сообщали друг другу:

– Сдал...

– Сдал.

– Акулина ходила...

– Акулина.

Только бабушка Драчена горой стояла за Акулину.

– Эх, бабы, – говорила она, – так ей-то чего делать? Два увальня на шее, пять своих мал мала меньше... Самой, что ль, в соху запрягаться. Да и то сказать, кто видел? Сказать не долго, а грех? Тоже ведь и ей-то никто не поможет...

– Кто поможет!

И когда потихоньку Драчена усмирила ропот, общий голос был: умная баба, с умом, а Драчена прибавляла:

– Так, матушка моя, ей-то еще без ума жить, так как же тут жить с этакой семейкой?

В первый базар отправилась Акулина с мужем лошадь покупать.

Счастье повезло: напали на такую же масть, как и у старого Бурко. И сходство со старым даже было, – только хвост пожиже у нового.

Так и купили с телегой и хомутом. Все было исполнено по обычаю. Старый хозяин взял лошадь правой рукой за повод, а Иван подставил ему свою правую ладонь, покрытую полою зипуна: голой рукой не годится принимать лошадь.

Старый хозяин сказал Ивану:

– С лошастью.

А Иван ответил:

– С деньгами.

Когда «развелись», все вместе пошли выпить в соседний кабак. Обмыв новокупку, Иван с Акулиной тут же и уехали с базара. Акулина от греха спешила увезти мужа: человек слабый – с двух стаканчиков и так уже зашумело, а тут кругом всё дружки да приятели. Уже на краю базара окликнул Ивана дружок по его работам, Федор-плотник.

Эх, с какой горечью покосился Иван на жену! Но Акулина и глазом не моргнула.

Приехали домой уж к вечеру. У ворот избы родителей встретила гурьба своих и чужих ребятшек. Никитка с разгоревшимися глазами теребил большую медную пуговицу своих штаншек и с блаженной улыбкой смотрел на нового Бурко.

Первое, что проделал Бурко, когда его выпрягли – лег на землю и стал кататься по двору. Затем, встав, встряхнулся, весело насторожил уши – лохматый, смешной, с жидким хвостом, но бодрый, веселый, – оглянулся и точно спрашивал: «Ну, добрые люди, на что я вам понадобился?» Ему молча отвечали валявшиеся под навесом соха, борона, телега и сани, отвечали счастливые лица Акулины и визжавших от радости детей. Бурко, очевидно, понял этот ответ и не только не смутился своей многосложной будущей деятельностью, но даже задорно вздернул голову и в доказательство, что ему все пустяки, попробовал проделать несколько веселых движений.

– Гляди... гляди... зверь! – смеялись поощрительно и весело кричали в толпе собравшихся.

Осмотрели еще раз всё у Бурко: зубы, ноздри, под шеей, становились на переднее копыто, щупали крестец хвоста, перед глазами соломинку держали...

Все испытанья выдержал с честью новый Бурко, и все вышло так, как говорила Акулина: Бурко тринадцать лет, лошадь еще поработает, справная, без пороков. Кто-то даже, начав щупать шею, заявил, что она двужилная. Дядя Василий, пощупав последним, проговорил:

– Какую еще лошадь надо?

– Знамо, какую, чем не лошадь?

– Первая лошадь, – согласился сонный Евдоким в остроконечной шапке и с длинной, клином, бородой.

И все, еще раз одобрив лошадь, понемногу кто куда разошлись.

Пока происходил весь этот вторичный осмотр, Акулину бросало в жар и холод: а вдруг откроется порок?

Положим, она чуть не со всей ярмарки мужиков переводила прежде, чем решиться начать настоящий торг с хозяином.

– Тридцать восемь?

– Двадцать два!

Часа три она набавляла, а хозяин спускал. Сперва рублями, а как дело стало сходитья ближе, перешли на полтинник, на двадцать копеек. И, наконец, последние полчаса весь торг сосредоточился на куске веревки, который был на телеге без дела привязан. Красная цена куску была копейки три, но обе стороны обнаружили такую страстность в споре, что все дело чуть было не расстроилось. Наконец, и веревка пошла: и всё вместе – и Бурко, и телега, и хомут, и уздечка, и вожжи, и веревка – за двадцать девять рублей тридцать пять копеек и полштофа водки.

Это был счастливый вечер.

Бурко поставили к корму. Для этого Никитка с оравой своих братьев забрался на зады барского двора и, с риском быть пойманным и избитым, натаскал из сеновала сена.

Когда вся семья села ужинать, мать вынула хлеб, нарезала его на столе ломтями, вынула луку, соли, достала из печки холодный, устроив варенный картофель, и все принялись за еду.

И муж и жена молчали и только по удовлетворенному чавканью их челюстей ясно было, что им хорошо думается под еду в этот вечер. Иван сегодня был вполне спокоен: Бурко опять есть, а с ним будет и пашня, и хлеб, и дрова, и все житье-бытье мужика.

Мысли Акулины ярче горели: теперь она успеет с осени приготовить пашню, с весны посеет пораньше, может раздобудется, а то и в долг возьмет еще земли и весной еще успеет вспахать и, если все это выйдет к году, так можно и так оправиться... Сена вот надо... зиму-то на соломе простоит, а к пашне надо, хоть немного, а надо. Сена поблизко, кроме барского, не было. Откуда его взять? Земли и под пашню всего по три осьминника приходится, а сенокосов... поезжай за ними в степь верст за тридцать, да зимой еще, где задаток дай, а какой еще сенокос будет... может, за пустое место отдашь деньги... деньги не маленькие, пять рублей за десятину, да скосить люди платят два рубля. Пудов шестьдесят сена соберешь, да привези, да отрывайся, да, того гляди, украдут, так и встанет пуд-то двадцать копеек без малого, а пуд ржи двадцать семь копеек.

Кончили все ужинать, крестятся на образа, и шепчет Акулина:

– Слава тебе, Христе боже наш, прости и помилуй нас грешных.

В эту ночь не заглядывал в душу страшный призрак голодной нужды: там, во дворе, громко хрустел челюстями кормилец!

– Ест... – сообщил Иван, заглянувший во двор. Не утерпела и Акулина! Вышла, послушала, подошла к Бурко...

Бурко только мотнул мордой: «Дескать, спи, – идет дело!»

Конечно, все данные были за то, чтоб дело шло: бурая масть была ко двору, но за дедушку домового кто может поручиться? Начнет дурить... не покажется... что с ним сделаешь?.. Не в обиду будь сказано, и шальной же этот дедушка: положиться на него трудно, а против него не пойдешь. Ну что ж? не покажется, не иначе как продать или выменять придется.

Но страх, очевидно, был ложный.

Бурко знал ясно, что делал, когда успокоительно мотал Акулине головой. Очевидно, с дедушкой домовым он уже успел обо всем перетолковать. Акулине даже показалось, что как будто в яслях сена против вчерашнего прибавилось: бог с ними, их дело, им жить... И Акулина тихо, осторожно вернулась в избу, но своим открытием побоялась даже с мужем поделиться; не то что «сглазу» испугалась, а просто час неровен: другой ведь такой придет, только скажи неловкое слово... Наутро, однако, истина всем ясна стала. И свои и шабры могли совершенно свободно видеть, что Бурко выглядит, как нельзя лучше, еще молодеватее смотрел на всех, еще форсистее отставлял свой жидкий хвост и вообще держал себя так непринужденно, как можно чувствовать себя только в родной обстановке. Но верх торжества был, когда Акулина, приткнувшаяся глазами к гриве Бурко, вдруг торжественно, голосом, переполненным радости, заявила:

– А это чего?

Тут уж все дело раскрылось, и всем стало ясно, что и дедушка остался доволен новым приобретением. Тонкие косички в гриве Бурко обнаружили удовольствие дедушки.

– Ишь старый, – говорил весело, удовлетворенно Степан, приглядываясь к косичкам, – ты гляди, как аккуратн... Ловок!..

Дедушка домовый, вероятно, в это время и сам с удовольствием выглядывал где-нибудь из-за угла темного сарая на дело своих рук, и кто знает? может быть, и сам не чужд был невольной дани общего порока людей – лести.

– Откуда у него, пса, Алешки, деньги! – думала Акулина. – Ох, уделают они с Пимкой дело.

И действительно уделали. Старик Асимов, отец Пимки, такого же отчаянного парня, как и Алешка, доглядел, что у него дыра в полу амбара, и в том сусеке хлеба и половины не осталось.

Дело раскрылось. Пимка и Алешка таскали хлеб и сбывали его разным лицам на деревне. Асимов пришел к Ивану и предложил или в суд подавать, или обратиться к миру с жалобой на сыновей, чтоб выпороли их.

Скрепя сердце, подталкиваемый Акулиной, согласился и пошел Иван с Асимовым на сходку.

Сходка громко галдела. Увидев отцов, все сразу притихли. Иван еле плелся, убитый и растерянный.

Асимов, коренастый старик, шел не спеша, уверенной походкой.

– Здравствуйте, старики, – проговорил Асимов, подходя и снимая шапку.

– Здравствуйте и вы.

– Мы вот, старики, к вам, на детей наших жаловаться пришли. Жить нельзя... чего?

Подрубили амбар – полсусека нет. Пра-а!

Старики потупились и молчали, Иван так и не поднимал головы.

Обросший, мохнатый Асимов прищурил свои широкие глаза и ждал.

– Действительно... – смутился Василий Полесовый, встретившись глазами с Асимовым и, оборвавшись, сказал, обращаясь к сходке: – Чего же, говорите, старики?

– Вы чего ж желаете? – прогремела Иерихонская труба отцам.

– Чего? – ответил Асимов, – посечь...

Иван, обыкновенно бледный, покраснел, напрягся, но молчал.

– Оба, что ль? – спросил Павел Кочегар.

– Може, к примеру, внушенье?-подсказал сонный Евдоким.

– Действительно, внушенье, – быстро кивнул головой Иван.

– Это что ж будет? насмешка одна, – вспыхнул Асимов, – полсусека хлеба – внушение...

им, оболтусам, внушай...

– Можно строго...

– Этак... – кивнул головой Асимов, – нет уж, видно, пусть оба в тюрьме посидят.

Асимов повернулся уходить.

– Да ты постой, – удержал его Василий. – Ты стой, скажи, сколько, ты считаешь, у тебя хлеба пропало?

– Сколько? Пудов с шестьдесят.

– Ловко.

– То-то, ловко... Пусть тридцать пудов отдаст, – Асимов мотнул головой на Ивана, – ладно, моего пори, а его хоть в ризницу ставь...

– Нету, – тоскливо ответил Иван.

– А работой? – подсказал Василий. – Ты, слышь, избу хотел же подрубить.

Слово по слову, поладили Ивану отработать. Боясь Акулины, Иван просил мир все-таки сделать сыну внушение.

Акулина в душе рада была, что выпорют оболтуса, и тем больше огорчило ее известие, что не только не выпорют, но ее «вахромей» и работой закрутился.

Заплакала с досады Акулина.

– Кто на свет его, проклятого, народил?

Внушение состояло в том, что шесть стариков пришли на другой день утром к Ивану в избу.

Тут же был и Алешка – жирный, гладкий, на этот раз струсивший немного. Он и с любопытством и страхом всматривался в чинно входивших, чинно крестившихся, кланявшихся и рассаживавшихся по лавкам стариков.

Когда все сели, за исключением хозяев, и достаточно намолчались, староста обратился к Ивану:

– Вот ты, Иван Петрович, на сына обиду сказываешь.

– Сказываю, – тихо ответил Иван.

Староста медленно, а за ним все перевели глаза на Алешку.

Алешка быстро потупился.

– Ты что ж это, Алешка? – спросил староста так сурово, что, если бы дело происходило на открытом воздухе, Алешка давно бы уж обратился в бегство.

Страх неизвестности томил Алешку и, чтоб поскорее от него избавиться и смягчить свою участь, оя упал на колени.

– Простите, старики, – говорил он, отбивая поклоны, – не буду больше... вот святая икона... Накажи меня господь...

Алешка говорил сиплым голосом, бойко и усиленно крестился.

– Так... ну, а если ты опять согрешишь?

– Ей-бо...

– Не миновать нам тогда тебя в острог отослать. Ты, може, видал, как по дороге ведут туда? Дзынь – дзынь! Ты это подумал? Ну хорошо. Ну а я, к примеру, да с тебя кафтан сдеру, а он вот с него... Этак и ладно будет? А?

– Не буду... ей-богу...

– Не будешь... Ладно, если не будешь... а будешь?! Ты вот сейчас стал человеком, женить тебя время приходит, ты это как считаешь, к примеру, – лестно путную-то девку за тебя отдать? А?

– Не буду...

– Слыхали... Ты вот отвечай: как ты считаешь, отцу с матерью, как на тебя смотреть?

– Не буду...

– Не будешь, а если будешь?!

Алешка давно был коровой, а староста равномерно, спокойно пилил, подставляя ему все новые и новые вопросы.

Пимку давно отец с братом отодрали в том же амбаре, откуда крал он, а Алешку все зудил и зудил староста, и что больше зудил, то больше во вкус входил.

Иван вздыхал, вздыхал и не вытерпел:

– Уж, старики, простите его на этот раз, может, и опомнится – дело молодое.

– Когда не опомнится, – встрепенулся совсем было уснувший Евдоким.

– Известно, золотой мой, опомнится, – вздохнул Василий Михеевич.

– Охо-хо, грехи! – односложно согласился Федор.

– Ну, вот видишь, – проговорил староста, – отец за тебя просит. Ты, что ль, его станешь благодарить? Или этак простил и ладно...

Алешка не знал, что ему делать.

– Нам, что ли, его за тебя благодарить? Вели, – кланяться станем.

– Благодарю, – ткнул Алешку рукой Василий Михеевич.

Алешка стал усердно бить поклоны пред отцом.

– Благодарю, тятенька, вас... благодарю и вас, маменька...

– Ты что ж его, Иван Петрович, прощаешь, значит?

– Прощаю, Родивон Семенович.

– Так... И ты, Акулина Ивановна, прощаешь?

Акулина махнула рукой, усмехнулась, закрылась рукавом и произнесла:

– Прощаю...

– Так... И вы, старики?

Алешка подполз и к старикам и пред каждым ударил по поклону.

– Прощаем, – ответили старики.

– Ну, видно, ладно, – сдался староста. – Ну, парень, теперь смотри: две вины выйдет, как в чем попадешься.

– Детям накажу...

– И так... женить пора...

Староста встал, а за ним и старики.

– Что, старики, с устатку по рюмочке?

Старики опять сели, распустили свои официальные лица, а Иван засуетился, доставая из кармана мелочь.

– Алешка, бежи...

Алешка живой рукой слетал в кабак, прихватил несколько стаканчиков и, возвратившись, быстро расставил все это на стол.

– Вот ты, когда хочешь, – заметил староста, – можешь стараться. И умом господь не обидел – смекнул, вишь, что без посуды водки не выпьешь...

Старики рассмеялись, рассмеялся и Алешка, добродушно стоявший у двери, когда все кончил.

– Тебя б ко мне на выправку, – начал опять староста, пока Иван осторожно наливал, – я б тебя живо человеком сделал... пра-а!

– Что, Иван Петрович, как грудь у тебя? – спросил Василий Михеевич.

– Плохо, – к погоде подвалит – беда.

– А я вот все ногами, золотой мой... Пра-а... Мое-то дело уж, видно, ладно, а вот Филипп-то мой не годится... Лихоманка его замаяла насмерть.

– Э-э... Ну, будьте здоровы.

– А хозяйка что ж?

– Ладно, – тихо кивнул головой Иван, – мы с ней останемся.

– Ну, что ж, с мировой вас... Ему, что ж, подать бы? Подали и Алешке.

Немного утих Алешка. Помогло и то, что Пимку отец совсем прогнал, и он ушел в город.

Темный, худой, с черными злыми глазками Пимка и Алешку звал, но мягкий, женственный и ленивый Алешка отказался.

Прошел год.

– И что нам с ним делать? – советовалась Акулина с Драченой. – Утих, а дела нет... Куда пристроишь – гонят... Что просто и за человек?

– А ему чего? кормят, поят – найдено...

– Так ведь мне-то каково: их, оболтусов, да своих шесть?

– Так ведь видно людям... вся семья на тебе.

– Тихий, тихий, а начни только говорить... Все смолчит, а как до сына, откуда что... не больно я его испугалась, так ведь и этот оболтус-то не боится...

– Женить разве?

Думала об этом и Акулина не раз. Женить сына хотел и отец.

«Ну, в мужиках счастья нет, бабу не пошлет ли господь путную: вдвоем бы все живею дело пошло», – думала Акулина.

Весь вопрос был в деньгах. Меньше 50 рублей не обойдется свадьба: попу 8 руб., да пол штоф водки, да утиральник, да запись – всех-то и 9 выйдет. Кладку невесте – ну хоть 10 руб. считать. Одежа жениху 10 руб., водки 3 ведра выйдет – 18 руб., харчу, говядинки – три рубля... все 50 клади... и уж бедно, бедно, так только, только... Урожай господь послал: с трех десятин

пудов 300 будет. Ну подати за две души 25 руб., – это что ж? 100 пудов... эх, много... вот 60 верст всего, на машине 40 коп., а у нас 25... На семена... 40... до урожая 8 ртов, невестка девятая, хоть по 2 пуда с рыла... что ж это? Если десять месяцев... нет, стой... Эх...

Акулина задумалась.

– Не сосчитаешь, – вздохнула она.

Порешили на том, чтоб продать корову – 20 руб., обнову сыну сделать на 6 руб., кладки дать 6 руб., и того не хватало еще 22 руб.

Продать 100 пудов хлеба, а там к весне парня с бабой куда-нибудь пристроить удастся.

Вопрос, где разыскать невесту, был тоже не из легких. Из своих никто не шел: все знали оболтуса. Из ближайших деревень тоже. И кладка невесте 6 руб. тоже мала. Пришлась одна по вкусу Акулине – кладка дорога – 12 руб. уперлась и ни копейки не спустила, пес с ней, а жаль: девка здоровая и веселая.

А главное, слух-то про него, куда ни пойдешь, вперед забежал. Этак... добрая слава лежит, а худая впереди тебя катит.

Наконец, нашли подходящую.

– Эти-то ведь, слава тебе, господи, и недалеко живут и ничего не слышали... И девка тихая, лицом чистая.

Акулине, одним словом, одобряли невестку.

– Може, там и есть где лучше, так ищи их, а то и кланяйся еще... эти живут в нужде, значит, знает, на что идет.

– Эх, кума, – качала головой Драчена, – в богатом доме бабе хуже. У тебя вот коровки нет и нет, а там их пять, – выдой их, да масла сбей, да кудели не перепрядешь в две зимы... Тоже и в богатстве!..

Драчена пренебрежительно качала головой.

На смотринах у невесты видный Алексей показался – показалась и невеста. Угощение выставили родители невесты: орехи, несколько пряников и полштоф хорошей водки: бедные люди.

Молодых, по обычаю, в чулане запирали на короткое время, чтобы ознакомились.

Они сели по разным углам и, бойкий в кабаке и в своем кругу, Алексей сидел скромно и не испытывал никакого поползновения подсесть поближе к невесте.

Только, когда уже шаги раздалась, он быстро с каким-то удивленным любопытством спросил:

– Пойдешь, что ль, за меня?

– Не знаю, – тихо ответила девушка.

Вероятно, самолюбие Алексея все-таки страдало, что за него никто не хочет идти: и вот, нашлась-таки, и лицом из себя чистая. Любопытство и интерес Алексея были задеты. Он ехал назад и с удовольствием думал о том, что только что с ним случилось. Что-то приятное, в чем собственно приятное – не знал и не думал Алексей. Веселый, сидя боком на телеге, он удовлетворенно посвистывал и машинально смотрел на Бурко. Бурко бежал и упрямо вытягивал вожжи. Бурко была деревенская лошадь, не любил он, чтобы взнуздывали его, не любил, чтобы вожжи чувствовались: надо повернуть – дерни, а что тянуть без толку? Акулина-то хорошо его сноровку заметила – у нее зато и шел он.

И все трое ехали, смотрели на Бурко и все думали: хороший конь Бурко. А Бурко точно смотрел на них боком, бежал и, читая их мысли, только прибавлял ходу.

– Добились конька...

– За сто рублей не отдам... тысячи не надо... Ей-богу, – страстно говорила Акулина.

И то ведь, Бурко да она, – вот и все работники в доме. Те-то малы, а эти двое – хоть на базар их вези. Бурко и Акулина и были настоящие друзья: они без слов понимали друг друга,

уважали и любили. Бурко была самая умная крестьянская лошадь: к своему, например, возу, во время сева, возу, где лежали семена, ни за что не подойдет, а все норовит к чужому, да еще где какой-нибудь глупый парнишка сидит; тот на него машет, а Бурко на него и прямо без разговоров: давай, и конец. Там мужик с конца загона кричит – Бурко и ухом не ведет. Уж когда вплоть подоспел мужик, Бурко лягнет ногами и отбежит. В таких случаях и Акулина, конечно, бросалась ловить своего коня, но они хорошо понимали друг друга. Акулина звонко ругалась, а Бурко, пригнув голову к еще голой земле, точно собирался траву есть, смотрел лукаво на свою хозяйку. А только домой ехать – глядишь, сам Бурко тут как тут... Или, например, когда с праздника какой-нибудь соседней деревни доставить осторожно пьяных хозяев – всегда доставит и с дороги, будь какой буран, не собьется ни за что.

Сыграли свадьбу. Молодой приехал за невестой на тройке, и Бурко шел в корню, гордо развевая гриву. Ковер достали. Молодой в мерлушковой шапке, в новом тулупе, в цветном поясе сидел, краснел, парился в жаркой избе рядом с невестой, и не смели прикоснуться ни он, ни она к еде. Такое правило: жениху и невесте до венца есть нельзя. Зато ели и пили дружки и гости. Дружка угощал и старался говорить стихами. Гости сидели за маленьким столом в темной, жаркой, набитой людьми избе, пили водку и не спеша брали руками с блюда то кусок пирога, то жирную ножку поросенка, то разваренную говядину. А в окнах и сенях все народ, народ, давят, жмут друг друга, и кажется совершенно непонятным, как не развалится гнилая изба под напором всей толпы.

Пока доехали, пока причт собирался – поезжане успели отрезвиться и только громкая отрыжка то у одного, то у другого давала знать, что поезд приехал не с пустым брюхом.

У ворот церкви позвякивали упаренные тройки, а в пустой холодной церкви жались, переступая с ноги на ногу, выпуская белый пар, – поезжане. Уже день темнел, и неуютные холодные тени ночи задвигались по церкви.

Ропота не было, но смотрели чаще на входную дверь и, наконец, в наступившем унылом молчании все до одного, сбившись в кучу, уставились глазами на дверь и ждали, когда появится причт. Но вот и он: батюшка, псаломщик и староста церковный. По каменным плитам звонко застучали кожаные калоши батюшки и глухо замерли в алтаре.

Сверкнула свечка на клиросе, зажгли пред аналоем, отворились царские врата, и свадьба началась.

Десяток-другой баб, молодух и девушек прибежали поглядеть на молодых.

Пара с виду была хоть куда: Алексей высокий, румяный, статный, хотя и рыхлый немного. Молодая с тонким продолговатым лицом, серыми прямыми глазами, с каким-то неуловимым выражением в лице не то злости, не то железной воли, не то отвращения ко всему, что происходило кругом.

Вот и венцы надели.

И пошли они, цари своего мгновения, под пытливым взглядом всех.

Да, три момента в жизни таких: крещение, день свадьбы, да опять, когда в гробе понесут: снимут опять шапку даже самые сильные и гордые люди села.

Кончилась свадьба, и возвратились к жениху в дом. Здесь уже пошло настоящее веселье: пили, ели, пели, девушки с парнями катались по селу с песнями, и звонко несло их пение и дикое гиканье парней. Как в темноте да в грязи никто не вывалился, не убился, трудно объяснить: вероятно, за пьяных хозяев их бурки да каурки удваивали свое внимание.

Главная дружка, здоровая рябая девка, Маланья, по обычаю, вскочив верхом на коня, лицом к хвосту, проехала по улице, и понемногу закончилась свадьба.

Снова потекла обычная жизнь. Не совсем обычная в семье Акулины: что-то творилось между молодыми.

Алешка был, как говорится, не в своей тарелке, напускал на себя беспечный вид, но то, что прежде ему без всякой натяжки удавалось, теперь выходило неестественно, и беспокойство, тревога, смущение, даже раздражение сквозили ясно. Молодая была бледна, глаза стали еще неподвижнее, она молчала, но в то же время от нее веяло каким-то могильным холодом души.

Иван угрюмо супился, а Акулина вздыхала так всей своей грудью, что казалось, того и гляди, разлетится ветхая избенка от ее вздохов.

Стали и в народ проникать какие-то неясные слуха: одни говорили, невеста порченная, другие – жених, третьи – и невеста и жених.

– Слышь ты... эти тех, а те этих искали надуть: оба и надулись.

Все сильнее, однако, брал верх слух, что Алешка, слышь, порченный.

Иван совершенно переменялся. Куда девалась его тихость! Он ходил мрачный, раздражительный, а на сноху без ненависти и смотреть не мог. Однажды молодая, как была в одной рубаше, выскочила ночью и спряталась у Варвары в хлеву. Варвара, случайно выйдя во двор, увидела ее, сперва испугалась, а затем ввела в избу.

Молодая дрожала, безумно поводила глазами и, когда успокоилась понемногу, рассказала страшную драму. Она показала свое тело все в мелких-мелких подтеках: это Алешка со злости все ее руками щипал.

– А то учнет кулачищами в живот тискать... тискат, тискат, тискат... моченьки нет... А тут сгреб за косы да бить зачал, старик к нему на помощь, и зачали вдвоем меня... больно били... видишь...

На шее, на лице, между волос, на плечах – везде были следы побоев.

– Старик-то в руки чего-то зажал, да им меня... бо-о-льно...

Наутро отыскали беглянку и водворили назад.

– Бегать, – шипел Иван, – бегать вздумала...

Алешка за обедом под столом ухватил жену за мякоть двумя ногтями и сжал до судороги. Рыкнула было жена каким-то захлебнувшимся голосом, но Иван уж совсем страшно зыкнул:

– Цы-ыц!..

А Алешка, с налитыми глазами, знай глотает ши ложку за ложкой да нет-нет и ухватит проклятую за мякоть. Та только головой рванет, как лошадь.

Пробовала было Акулина мужиков своих образумить, но отстала: убьют и ее.

Ад сущий пошел в маленькой семиаршинной избе с девятью обитателями и десятым теленком. Лучше всех было последнему. Его никто не бил, и вопли жертвы не смущали его душевного покоя.

«Чтой-то, господи, хоть бы сбежала, что ль? – думала Акулина, – дома не житье – каторга, на улицу стыдно показаться... Ох ты, господи!.. Вот где грехи!..»

Однажды молодая, не вытерпев, бросилась на барский двор и, ворвавшись к управителю, так и кинулась ему прямо на шею.

Это было в кабинете, как раз в то время, когда его величественная половина, Марья Ивановна, сидела на диване.

– Прочь, дрянь, прочь! – взвизгнула Марья Ивановна.

Ивану Михайловичу и лестно и смешно было.

– Что ты, белены объелась? – проговорил он, пятась и оттопыривая толстые свои губы.

В помощи ей наотрез отказали.

– Э... твой Алешка... э... такой разбойник... нельзя нам... он тут и всю усадьбу, и все сожжет... подлец! Ты сама видишь, что он за человек, – что ж, хочешь, чтобы и мы узнали? Знаем!..

Убежала опять молодая. Подождали до вечера и поехали к ее родным, но там ее не оказалось.

Родные молодой уж кое-что слышали и попрекнули Ивана. Иван их попрекнул: разругались и разъехались.

Все-таки струсил Иван и Алешка: пропала баба, как бы чего не сделала над собой.

У Алешки на душе тоска какая-то: тут она – бить ее, щипать, мять охота, а нет ее – тоска, охота увидеть. Меняться стал Алешка. И крови меньше в лице стало и к парням не идет.

Прошло две недели, – слух дошел, – объявилась беглянка где-то на хуторах – в кухарки нанялась.

Как только Иван услышал, сам поехал, навел все справки и по совету добрых людей нанял «авоката», чтобы вытребовать жену обратно. Через неделю Иван, Алешка и полицейский с бумагой из полиции уже ехали в указанный хутор. Молодая не ждала, не чаяла беды, когда кухня распахнулась и непрошенные гости вошли. За три недели она успела уже было отдышаться, и ее своеобразная злая красота сильнее уколола в сердце Алешку.

Получив жену обратно, уплатив за труд полицейскому, с сыном и снохой поехали домой.

Как только хутор скрылся из виду, Иван остановил лошадь, а молодая рванулась было с телеги.

– Куда, – равнодушно злорадно ухватил ее Алешка, – опять думаешь?

Иван молча, не спеша слез, достал из-под сиденья железные путы и молча подошел к снохе. Та беспрекословно протянула руки. Такие же цепи надеты были и на ноги.

Тогда спокойные, что уйти уж нельзя ей, отец и сын, предварительно заткнув жертве рот тряпкой, принялись стегать ее, разложив на земле, в два кнута. Алешка сам изготовил себе кнут: здоровый, плетеный. Били до крови, до иступления, до потери сознания. Били по телу, по ногам, по голове, топтали сапогами лицо.

Вздутую, посиневшую, с изуродованным отвратительно лицом, молодую усадили в телегу и поехали дальше. Легкий морозец сковал грязь, и телега жестко прыгала по кочкам.

Иван сидел и упорно смотрел в хвост Бурка. Бурко лениво, тупо бежал.

Алешка с любопытством вскидывал по временам глаза на жену. Избитая сидела молча и ничего нельзя было разобрать: больно ли ей, обидно; из ее рта платок был вынут, и она сидела с таким лицом, точно или били не ее, или сделана она из гуттаперчи или чего другого, но не из мяса и тела. Это еще больше раздражало. Побитое лицо ее было отвратительно, и Алешку теперь не тянуло к ней так, как тогда, когда увидел он ее в кухне. От этого точно веселее как-то делалось у него на душе и хотелось еще бить.

Иногда он, размахнувшись, бил ее прямо в лицо. Утомленный Иван сидел, но злоба все клокотала в нем. Верст за пять до своей деревни Иван опять остановил лошадь и слез с телеги. Сын молча, по безмолвной команде, быстро спрыгнул в надежде пособить отцу бить опять жену, но на этот раз ее не били, а раздели до рубахи и, сняв цепи, за косу привязали ее к хомуту Бурка.

На рысях, привязанная за косу, в одной рубахе, взмахивая руками каждый раз, когда ее вытягивали кнутом, вбежала молодая жена в деревню мужа. Даже самые закоренелые сторонники старых порядков осудили Ивана.

– Не гоже... – лаконически переходило от одного к другому.

– Это что ж? Без путы... – с пренебрежением махали рукой.

Только старик Асимов отнесся с одобрением да отец старосты.

Потолковали на селе и бросили: свое дело – разберутся, свои собаки грызутся, чужая не приставай. Привезли молодую и посадили на цепь. Продержав несколько дней, еще несколько раз избив, по придуманному, наконец, Акулиной выходу, обоих повезли к знахарю. Приехали от знахаря, и на глазах изумленной деревни чудо произошло: выпользовал знахарь, и молодые стали, как молодые, по крайней мере с виду веселые и довольные. Иван повеселел, и жизнь, наконец, пошла своим обычным, на этот раз действительно, обычным чередом.

Прежде всего надо было думать о средствах и не оставалось ничего другого, как сына с женой отдать куда-нибудь в работу.

Отдали куда-то верст за пятьдесят к доктору.

Для Алешки, впрочем, все кончилось плохо. Жена надула его. Видя, что прямо не возьмешь ничего, из разговоров семьи сообразив, что дело идет к тому, чтобы их с мужем отдать в работники, она переменяла: прием: стала ласкова, жалостлива и успокоила большое самолюбие Алешки.

Но у доктора, разузнав порядки, она в одно прекрасное утро явилась к барыне и рассказала ей все, что с ней случилось. Дело обставили на этот раз так, что закон оказался на стороне жены.

Алешку освидетельствовали и рассчитали, объяснив ему, что развод он получит через полгода, а жену его барыня оставила при себе.

С этим и пришел Алешка домой.

Объявили ему, между прочим, что чуть что против него и отца поднимут уголовное преследование за истязание, и дело это для них кончится арестантскими ротами.

Отец и сын сконфуженно молчали. Акулина вздыхала, и все пошло, как шло.

Алешка, по-своему любивший несомненно жену, был огорчен и оскорблен. От конфузу он сам пожелал оставить отчий дом и нанялся где-то на винокуренном заводе в работники. Слухи доходили, что гулял он шибко на заводе.

В чем ли попался, или так провинился пред приятелями Алешка: как-то ночью избили его и бросили без памяти на улице.

Очнулся Алешка только уж на другой день – в больнице.

Вспомнил все, лежит и пытливо посматривает: знают ли, за что били его? И страшно ему, что ласковы с ним, – как бы хуже еще, чем ночью, не случилось чего. Тоска, какая-то чужая, без причины жмет сердце: хочет шевельнуться Алешка и не может: страшно. А доктор все возится там в голове и из глубокой раны все вытаскивает осколки битого черепа. Фельдшер бледный смотрит в глаза. Ах, худо!

– Да что ты, бог с тобой: чего пугаешься?

– Домой хочу! – взвыл, зарыдал и метнулся тоскливо Алешка.

Дошел слух, что Алешку так избили где-то в ночной переделке, что лежит он в больнице.

Отец пришел навестить сына, но уж застал только его в часовне.

Алешка лежал длинный, худой и ничего общего не имел с прежним круглым беспечным увальнем.

Потрясенный Иван стоял перед своим любимым детищем и рыдал, как ребенок. Слезы текли по его тонкому носу с короткими ноздрями, стекали на розовый хрящ, текли по усам в рот, а оттуда, изо рта, как в детстве, судорожно неудержимо вылетали брызги и пузыри.

Ненадолго и отец пережил сына. Вскоре во возвращении у него совсем завалило грудь. Тут и ноги стали пухнуть. Пил он настойку из тараканов, пил дорогую траву, советовался со всеми знахарками, но ничего не помогало. По настоянию Акулины, кончил Иван тем, что отправился-таки в больницу.

Месяц пролежал там Иван, и не мила ему стала и больница, и господская еда, и эта тишина в светлой и тихой, как гроб, комнате. Домой потянуло: в свой уголок, гнилую избу, жесткий угол, потянуло всем сердцем; там, в том углу весь мир его и вся радость земли. Только бы дал господь еще раз увидеть его, а там пусть и смерть идет.

Как ни удерживали, пешком, еле живой, побрел по зимней дороге. Задохнется, присядет на выбоину, отдышится и дальше плетется.

Уж ночью почти добрался до родного села.

Только и попался навстречу уж в деревне сонный Евдоким в своей остроконечной шапке.

Поздоровались, поглядел на Ивана Евдоким и, мотнув головой, проговорил:

– И плох же ты, Иван Петрович.

– Плох, Евдоким Васильевич, – вздохнул покорно Иван.

– Помирать, видно, домой пришел...

– Домой... Все свой угол...

– Известно, – вздохнул Евдоким. Помолчали, потупясь, и прибавил Евдоким: – Никто как бог.

– Божья воля.

Еще постояли и разошлись.

Идет Евдоким, потряхивает головой и вздыхает:

– Э-хе-хе-хе!

Акулина только руками всплеснула, увидев на пороге страшную тень мужа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.